**Наталья Иванова**

**Варлам Шаламов и Борис Пастернак: к истории одного стихотворения**



**Опубликовано в журнале:**[**«Знамя» 2007, №9**](http://magazines.russ.ru/znamia/2007/9/)

***пристальное прочтение***

  ***От автора.*** Данный сюжет появится среди прочих в моей книге “Борис Пастернак. Времена жизни”, готовящейся к выходу в издательстве “Время”.

Варлам Шаламов, столетие со дня рождения которого было отмечено недавно Международной конференцией, в течение двух дней проходившей в Москве в стенах Центра русского зарубежья, и показанным в прайм-тайм по российскому главному телеканалу двенадцатисерийным фильмом (режиссер Николай Досталь, сценарий Юрия Арабова и Олега Сироткина), сделанным по биографическим мотивам, до сих пор оставался незаслуженно малоизвестным читателю. Хотя в конце 90-х издательство “Вагриус” выпустило 4-томное собрание сочинений Шаламова, а в 2005-м “Терра” — шеститомник, куда, кроме полного корпуса стихов и прозы, вошли большая часть переписки, эссе и воспоминаний. Купить шеститомник было трудно (из малодоступных — из-за небольшого тиража). Больше подходил забытый советский глагол *достать…* Но вот в самые “шаламовские” дни слышу по “Эху Москвы” перепутанное: вместо Шаламова — Варламов.

Не было успеха (“У меня не было удач”) при жизни (“Все ему давалось неистовым трудом, все оплачено кусками крови, нервов, легких” — И.П. Сиротинская, друг Шаламова, публикатор и составитель его книг), только боль и страдание с малыми (сравнительно) обрезками “мирной”, “тихой” жизни.

Нет настоящего “успеха” и посмертно.

Слава, но глухая.

И литературные критики, чей долг, казалось бы, приблизить Шаламова с его прозой и стихами — задача сегодня насущная, — отстраняются от него, даже сочиняя о нем юбилейные заметки. Как будто его, Шаламова, горе — заразно, заразна его трагедия (она — не его, а общая). Такой вот парадокс. “…Невозможно писать о Шаламове — встраивать его многолетний изматывающий душу стон в культурные контексты, отыскивать исторические традиции и фиксировать творческое развитие…” Да почему же невозможно? И почему — молчанье лучше, чем рефлексия?

Нет, не молчать — но читать и думать, сравнивать и делать выводы.

Покойная Ирина Полянская написала рассказ о московском жилье Варлама Шаламова — “Тихая комната”. Так он в этой тихой комнате и находится. Слава — настоящая, крупная, всемирная, та, которой он заслуживал, — слава его обошла, несмотря на литературный подвиг, который он совершил после всего, что испытал, — создание “Колымских рассказов” и “Колымских тетрадей”.

Шаламов — “великий писатель” (Виктор Некрасов), автор принципиально новой прозы, писатель замечательно темпераментный, рефлексирующий не только над своими, но и над другими текстами, превосходно ориентирующийся в современной классике, и неслучайно важнейшие литературные ориентиры для него — Марсель Пруст и Фолкнер. Стороннему человеку это может показаться уж слишком изысканным, даже кокетством каким-то — *какой* Пруст рядом с *таким* опытом!.. А Шаламов учился — претворять воспоминание в прозу именно у Пруста, изображать сломанное сознание — у Фолкнера. Шаламов — писатель *par excellence*, а не только носитель страшного опыта, — в эту резервацию его порой пытаются запихнуть. У нас *один* должен быть на вершине лит. пирамиды ГУЛАГа, — другим мест не предусмотрено. Сам Шаламов отвечал на этот вопрос так: лагерная тема столь невероятно велика, что здесь разместятся несколько Львов Толстых, и никому не будет тесно.

Да, Шаламов стоит совсем отдельно в ряду крупнейших поэтов и прозаиков русского ХХ века. Не только потому, что страшен его опыт, — не так уж этот опыт уникален в стране, где через ГУЛАГ были пропущены миллионы, — но и потому, что' он с этим опытом сделал, ка'к он его превратил в литературу.

*\* \* \**

Первым, к кому он обратился со своими стихами, еще с Колымы, и первым, к кому он пришел 13 ноября 1953 года, на следующий по приезде в Москву после восемнадцати лет лагерей и ссылки день, был Борис Пастернак. Кстати, в фильме Николая Досталя этот, один из решающих для Шаламова моментов показан с деликатной точностью: Шаламов звонит в дверь квартиры на Лаврушинском, дверь открывается… затемнение. И совсем другая история.

Это был исторически важный момент — для обоих участников встречи.

Пастернак в это время весь — в своем романе. Но он понимает, кто' к нему обратился, — еще в 1952-м ответил на шаламовскую тетрадь со стихами (“синюю”), доставленную ему Галиной Гудзь, женой Варлама Тихоновича, обстоятельным, щедрым, развернутым письмом. В письме из дальневосточной Кюбюмы Шаламов пишет Пастернаку, что видел его один раз, в клубе МГУ, где Пастернак читал “Второе рождение”, — году в 1933 или 1934-м. “Каждая Ваша строка тревожила меня”: слова “тревожила”, “тревога” и производные знаковы в лексическом мире Шаламова. Значит — *будили* (см. “Сентенция”).

Письмо Шаламова — это исповедь и одновременно изложение взглядов на жизнь и искусство. Гордое изложение: “И как бы ни была грандиозна сила другого поэта, она не заставит меня замолчать”. Он сознает свое *право* на поэзию — и при этом анализирует стихи Пастернака, утверждая его гениальность и пытаясь разгадать ее загадку и генеалогию (по Шаламову: Лермонтов — Тютчев — Анненский — Пастернак).

Письмо Пастернака Шаламову — без всякого снисхождения или, наоборот, преклонения. Письмо коллеги. С самого начала настроенного на “другого” — понимающего. Письмо поэта — поэту. Именно поэтому и начинается оно развернутым самоанализом, где Пастернак объясняет Шаламову, почему сегодня он считает те самые стихи, которые тот слушал в клубе МГУ, несостоятельными. Пастернак все, кроме ранних (двух!) стихотворений, и “себя позднего”, вычеркивает — и подробно аргументирует свое аутодафе. От чего отрекается Пастернак? От “футуризма” в своем исполнении. От “Тем и вариаций”. От стихов и поэм, от 20-х годов “с их фальшью” — “именно тогда сложилась … чудовищная “советская” поэзия, эклектически украшательская”. В этом письме Шаламову Пастернак произносит свою ставшую знаменитой формулу: “Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним, тем уже и быть человеком”.

А дальше — строго и нелицеприятно, о “сильной” и о “слабой” сторонах стихов из “синей тетради”. Вывод, который не смог бы утешить: пока не откажетесь от надуманного, пока “не расстанетесь с ложною неполною рифмовкой”, отказываюсь считать предъявленное стихами. “И зачем мне щадить Вас? Вы не бездарны…”

И вот после “правильного” письма (разговора на равных) Шаламов не только не пал духом (Шаламова вообще трудно представить таким), но и приехал, и пришел, и слушал новые стихи — те, которые Пастернак ему прочитал, то есть стихи из романа (несколько из них появятся в апрельском за 1954 год номере “Знамени”).

Шаламов оставил воспоминания о встречах с Пастернаком — но это не только воспоминания, а и свидетельства о себе самом. “Разговоры наши — не интервью, не беседы репортера со знаменитостью. Я приехал учиться жить, а не учиться писать”, — *весело*, как подчеркивает сорокашестилетний Шаламов, глядя в веселые и молодые глаза шестидесятитрехлетнего собеседника.

Пастернак целует Шаламова на прощанье.

Вторая встреча происходит наедине, в отличие от первой (в присутствии жены Шаламова, Галины Гудзь). Пастернак исповедуется: “1905 год” и “Лейтенант Шмидт” — “поэмы, которые я хотел бы забыть…”.

При третьей встрече — 2 января 1954 года — Пастернак говорит бывшему лагернику о предполагаемом финале “Доктора Живаго”: герой погибнет в концлагере.

Параллельно со встречами шла переписка. А в ней — постепенное признание Пастернаком ценности стихов из шаламовской “синей тетради”. Когда Пастернак вновь принялся читать ее (Шаламов, между прочим, не раз возвращался в своих письмах и эссе к мысли о том, что стихи нельзя читать, как прозу, — их надо обязательно перечитывать, возвращаться к ним вновь и вновь), то стал отчеркивать карандашом наиболее понравившиеся стихи, — и так “счертил сплошь, почти все страницы прочитанной половины”. Признание: “Вы одна из редких моих радостей и в некоторых отношениях единственная…”. От строгости оценки в первом письме Пастернак теперь уходит, хотя замечания и советы его по сути те же самые, замыкаемые признанием настоящего таланта: “настоящие стихи сильного, самобытного поэта” (в письме 27 октября 1954 г.). “Я никогда не верну Вам синей тетрадки. <…> Пусть лежит у меня рядом со старым томиком алконостовского Блока”.

Пастернак — в свою очередь — доверяет Шаламову свое самое сейчас главное: дает прочитать сначала первую, а потом и остальные части “Доктора Живаго”. В сущности, по одному из писем Шаламову можно судить и о дате окончания работы над романом.

(Нельзя не сказать и вот о чем: Пастернак настойчиво говорит — и пишет Шаламову о необходимости для поэта писать прозу; но мы не обнаружили следов того, что Шаламов давал Пастернаку читать иные из “Колымских рассказов”, которые сейчас им пишутся, — таился? оберегал? нет, только стихи.)

*\* \* \**

Пастернак для Шаламова — подлинный русский писатель. Для Шаламова, которому дали новый срок за слова о *настоящем* писателе Бунине, это главное. Вот Алексей Толстой для него, пишет он Пастернаку, “вовсе не русский писатель”. Например, в “Хождении по мукам” — “можно удивиться гладкости и легкости языка, гладкости и легкости сюжета, но эти же качества огорчают, когда они отличают мысль. “Хождение по мукам”, — продолжает Шаламов, — роман для трамвайного чтения, — жанр весьма нужный и уважаемый. Но при чем тут русская литература?”

*Русская литература* для обоих собеседников есть понятие сложное и дискутируемое, но в определенных пределах. Шаламов, скажем, выносит за ее пределы Сельвинского со всеми конструктивистами; резкость оценок Шаламова (под его тяжелую руку попадут многие — он весьма сдержанно относится ко Льву Толстому, в отличие от Достоевского и Чехова; отрицательно оценивает Горького, язвителен к Солженицыну) обеспечена всем золотовалютным запасом его жизни и опыта. Любопытно, что Пастернак, во многом не схожий с Шаламовым, близок к его литературным “плюсам”, выставляемым Марселю Прусту, Замятину и Пильняку.

Можно сказать, что оба преклонялись: один, Шаламов, — перед талантом, если не гением; а другой — перед “нешуточностью и суровостью Вашей судьбы и свежестью Ваших задатков” (Пастернак). Это и послужило основой глубокого уважения друг друга — и литературной честности. Не только Пастернака в конкретных оценках стихов Шаламова я имею в виду, но и оценку Шаламовым прозы Пастернака. (Здесь, конечно же, важен и жизненный опыт “нескольких жизней” Шаламова.)

И вот что еще.

Шаламов, в отличие от москвича Пастернака, — из провинции, из Вологды.

Пастернак — из блестящей культурной среды, сын профессора живописи и консерваторки-пианистки. Шаламов — сын провинциального священника, говоря языком нынешним, “продвинутого”, современно мыслящего, оригинального, десять лет миссионерствовавшего среди алеутов на Аляске. Последние двадцать лет жизни Шаламов вообще был лишен культуры.

А разговаривают они друг с другом — *рядом* (а не кто-то выше, кто-то ниже: будь то по опыту или по объему сделанного). Более того, Шаламов, живший стихами Пастернака в течение двадцати лет (и каких лет — см. признание в первом же письме, 22 февраля 1952 г.), разговаривает с Пастернаком как с поэтом и человеком близкой судьбы, все понимающим с полузвука-полуслова. За первым письмом — полторы тысячи километров в морозы свыше 50о Шаламов едет: за тем, что ему кровно необходимо (испытавший то, что он испытал, — за виньеткой не поедет и за километр). И с самых первых слов они оба “сигнализируют” друг другу именами поэтов и названиями книг. Определяют родство в поэзии. И, определив, Пастернак тоже открывает Шаламову самое важное, самое ценное — роман. Поражаешься, кроме прочего, смелости, если не бесшабашности, и того, и другого, и передающего, и получающего.

*\* \* \**

Но не будем торопиться, вернемся чуточку назад, к первым встречам и даже первому знакомству через присланные с Колымы стихи.

Задача перед получившим их на суд Пастернаком стояла очень сложная. Не обидеть, не оскорбить, не “убить” автора, — и судить по серьезным профессиональным меркам. Пастернак сделал невозможное — он суров, но, если можно так выразиться, вдохновляющ в своем ответе, в своем анализе, в своем разборе.

Шаламов, к которому в свою очередь обращены ожидания Пастернака (после присылки рукописи романа), тоже нелицеприятен, некомплиментарен в оценке и разборе прозы любимого поэта. Хотя — “Я никогда не думал, не мог себе даже в самых далеких и смелых мечтах представить, что я буду читать Ваш не напечатанный, не оконченный роман, да еще полученный в рукописи от Вас самих” (20 декабря 1953 г.).

А ведь между первым письмом и этим пролегло не просто почти два коротких года, пролегла целая эпоха: не стало Сталина, арестован и расстрелян Берия. Пастернак пишет об этом в письме Г.И. Гудзь (для передачи и Шаламову, конечно), — и неслучайно (рифма — орудие поисков! и смысловая тоже) “рифмуя” в письме эту новость с тем, как он узнал о февральской революции… Так что события произошли, повторяю, эпохальные, вполне революционные (Пастернак — между строк — говорит, конечно, о смене *режима*).

И о чем же писал недавний з/к в письмах — сразу же, в марте 53-го — Пастернаку?

О стихах. О поэтической “работе”, о помарках, о словесных рядах, о рождении стихотворения. И — ни слова, ни намека на “эпохальные события”. Событиями и для Пастернака, и для Шаламова с тех пор, как он обретает себя в слове, — являются стихи.

И — проза.

Так вот, получив и прочитав черновую рукопись незаконченного романа, Шаламов пишет Пастернаку письмо с подробнейшим изложением своих впечатлений и предварительных соображений. Зорко подмечая сюжетные провисания (и “потери” героев), Шаламов останавливается на недостатках текста. Но перед своей “аналитической запиской” Шаламов — как пророк и провидец — предсказывает (в 1953!) судьбу романа: “роман… может быть, и будет разодран изголодавшейся на казенных романах критикой в куски, но все разорванные части, как в русской сказке, срастутся и роман будет снова жить”.

Особо Шаламов отмечает то в романе, “о чем мне хочется думать, и все это живет во мне отдельно от романа, окруженное душевной тревогой, поднятой этими мыслями”. *Душевная* тревога, *душевная* честность, *душа* — ключевые слова Шаламова, адресованные Пастернаку. Поражаясь художественности литургических богослужебных текстов, он называет их *алгеброй души*.

Чуток Шаламов и к особому христианству Пастернака (“В самом христианстве все дело в пришествии, в явлении Бога в быт”, “Конечно, верно, что христианство было предложением жизни Человеку, а не обществу”, — после этого заявления об “атеизме” Шаламова следует пересмотреть как поверхностные и неадекватные сути дела), и к отсутствию “иронии”, и к “*спокойствию”* повествования.

Шаламов подробен.

Он радуется открытиям, художественной точности Пастернака.

И бескомпромиссен в критике: особенно когда касается речевого “лубка”, языка крестьян и рабочих.

Переписка, пульсирующая в 1952—1954 годы, в конце 1954-го на время затихает. Наконец, в конце 1955-го Пастернак заканчивает работу над 2-й частью — а Шаламов к этому времени уже написал иные из своих “Колымских рассказов”. И в начале 1956-го Шаламов пишет Пастернаку по прочтении 2-й части “Доктора Живаго”. Шаламов благодарит. Подчеркивая, говорит о самом лучшем в романе, — и в то же время ощущается, что он разочарован.

Отмечая новизну развития главного героя, яркость сцен, необычность поворотов, полное отсутствие “фальши” в судьбах главных героев, Шаламов разочарован финалом судьбы Юрия Живаго (хотя и пишет смиренно: “Мне, правда, по первой части иначе рисовалось развитие романа, но и так хорошо”).

Более того: Шаламов дает свою версию судьбы Живаго, свою концовку. Свой финал.

“Мне думалось, что вот интеллигент, брошенный в водоворот жизни революционной России с ее азиатскими акцентами, водоворот, который, как показывает время, страшен <…> тем растлевающим злом, которое он оставляет на десятилетия. Доктор Живаго будет медленно и естественно раздавлен, умерщвлен, где-то на каторге. Как добивается, убивается XIX век в лагерях ХХ века. Похороны где-н. в каменной яме — нагой и костлявый мертвец с фанерной биркой (все ящики от посылок шли на эти бирки), привязанной к левой щиколотке на случай эксгумации.

Что Лариса не уйдет от его судьбы. Как где-то рождается мальчик, девочка, для которых все, скопленные Ларисой и Юрием — не пустые слова, что это то, с чем он не боится идти по своей <…> Сизифовой дороге… Как умирает Живаго, теряя силу… как он поправляется, как к нему возвращаются слова, понятия, жизнь — и как он обманывается, снова и снова умирает”.

В этом же письме Шаламов скупо излагает Пастернаку историю ГУЛАГа и конспективно, “случайными картинками” (по абзацу) набрасывает сюжеты будущих “Колымских рассказов”.

Из “Доктора Живаго” Шаламов понял, что Пастернак знает о ГУЛАГе (и его конкретике) очень мало. И решает его в эту реальность посвятить, пунктиром наметив сквозные сюжеты. Сначала Шаламов дает краткую историческую справку об образовании и распространении ГУЛАГа (“Засеяно было густо”). А дальше — пульсация не “картин”, не “деталей” даже — концентрация реальности, которую Шаламов как писатель “готов” отдать Пастернаку для романа.

“Белая, чуть синеватая мгла зимней 60о-й ночи, оркестр серебряных труб, играющих туши перед мертвым строем арестантов. Желтый свет огромных, тонущих в белой мгле, бензиновых факелов. Читают списки расстрелянных за невыполнение норм”.

“Беглец, которого поймали в тайге и застрелили, “оперативники” отрубили ему обе кисти, чтобы не возить труп за несколько верст, а пальцы ведь надо печатать. А Беглец поднялся и доплелся к утру к нашей избушке. Потом его застрелили окончательно”.

“Состояние истощения, когда несколько раз за день человек возвращается в жизнь и уходит в смерть”.

“Тех, кто не может идти на работу, привязывают к волокушам, и лошадь тащит их по дороге за 2—3 километра”.

“Ворот у отверстия штольни. Бревно, которым ворот вращают, и семь измученных оборванцев ходят по кругу вместо лошади. И у костра — конвоир. Чем не Египет?”

Осторожный з/к заканчивает это письмо (на дворе еще “канун” ХХ съезда, январь 1956-го! А как и за что сажают и после съезда — см. переписку Шаламова с А.З. Добровольским — повторную статью 58.10 тому дали в 1957-м) словами: “Когда-то давно Вы получали мои письма с заклеенными клеем конвертами. Это я заклеивал сам для крепости”. Намек ясен. За распространение лагерных “картинок” новый срок рисковал получить и сам автор письма.

За две недели до этого шаламовского письма Пастернак, посылая окончание романа, предостерегающе пишет Шаламову: “То, что Вы усмотрите в этих тетрадях, не следствие тупоумия или черствости души, наоборот, у меня почти на границе слез печаль по поводу того, что я не могу, как все, что мне нельзя, что я не вправе”. Слова загадочные. Может быть, это намек именно на то, что он “не вправе”; что не вследствие “черствости души”, но он не может писать о том, чего сам не видел, не испытал? И поэтому Шаламов предоставляет ему эти свои свидетельства?

По крайней мере, я так прочитываю эти два письма — тогда мотивация такого ответа Шаламова на “чудесный Новогодний подарок”, то есть рукопись второй книги “ДЖ”, становится понятной. И понятно то, почему Шаламов не принял такого, печально красивого похоронно-прощального живаговского конца, с цветами, источающими скорбь вокруг убранного ими гроба, с рыдающей над ним Ларой, *красиво* распростершей свои белые руки-крылья, со сдержанным плачем тех, кто пришел на Камергерский проститься с Юрием Андреевичем… Нет, по Шаламову — Юрию Андреевичу предстоят похороны в каменной яме. Нагой и костлявый мертвец с биркой — вот доктор Живаго, вот Осип Мандельштам. Таков *реальный* конец жизни поэта. Неизвестный солдат. “И столетья окружают меня огнем”. Повторяю: писать как очевидец лагерей Пастернак не смог — как писатель совсем другого жизненного опыта, он выбрал для своего героя другой финал, отчасти — метафорический (я об этом писала в книге “Пастернак и другие”), смерть в трамвае от удушья, *отсутствия воздуха*, того самого воздуха, которого и Блоку, и Пушкину не хватило.

Не принимает Шаламов в романе и эпизодов, связанных так или иначе с войной. Осторожно, поскольку он сам тоже войны не видел (не допустили, не доверили), но на Колыме, конечно, слышал от участников ту правду, которая не проникала к Пастернаку (см. хотя бы “Последний бой майора Пугачева”), Шаламов пишет: “…хочется и поспорить. О “нравственном цвете поколения”. Например, о подготовке героизма. <…> Нашу молодежь убеждали еще со школы, с детского сада, что мир, в котором она живет, — это и есть лучшее завоевание человечества, а все сомнения по этому поводу — вредная ложь, бред стариков. <…> Не последнюю роль играла знаменитая “вторая линия” с пулеметами в спину первой и смертная казнь на месте, вошедшая в юрисдикцию командира взвода, — аргументы весьма веские”. Шаламов напоминает Пастернаку — как о “робчайшей попытке показать кое-что, как это есть” — о сюжетных линиях “у Некрасова (Виктора) в книжке “В окопах Сталинграда”.

Аргументы Шаламова убедительны, но для романа (состоявшегося, написанного) бездейственны. Каждый остается при своей правде, прежде всего художественной, как он ее понимает, — Пастернак; правде художества как документа — Шаламов.

Для того чтобы ответить на вторую часть романа, письма Шаламову мало — он ответит своей прозой, “Колымскими рассказами”, конспект, вернее *заявку* на которые он поместил в этом письме.

Итак, не только материал — сама поэтика Шаламова принципиально другая, вот что важно. Хотя Пастернак для Шаламова — любимейший, наиболее ценимый из всех русских поэтов ХХ века, — и все-таки он, Шаламов, идет в своем деле, в работе писателя своим, совсем другим путем. Путем невероятного сжатия, концентрации, сгущения своего трагического опыта — и как опыта всей страны. Сгущения — и одновременно той детализации, страшной, почти галлюционарно ясной конкретики, которая Пастернака, слава Богу, миновала.

*\* \* \**

Параллельно с линией сугубо литературных взаимоотношений с Пастернаком в жизни Шаламова на тот же момент развивалась еще одна линия — отношений с Ольгой Ивинской.

Он пишет ей из г. Туркмен Калининской области, где с трудом поселился и нашел работу после освобождения, назначая свидание на 7 апреля 1956 года: “Я легко разгадаю загадку о нашем общем друге…”.

*Общим другом* двух недавних лагерников (лагерная судьба Ивинской была несравнимо легче шаламовской, Ивинскую арестовали в 1949-м, а освободили в 1953-м, и ее миновали ужасы Колымы, — но все же она прошла и через тюрьму, и через лагерь, а это объединяет) являлся, конечно же, Пастернак.

Шаламов увидел Пастернака впервые в 1933(34?) году в Доме культуры 1-го МГУ, где Пастернак читал стихи из “Второго рождения”. В те времена они, ровесники, были с красавицей Ивинской — сохранилось ее фото тех лет — хорошо знакомы: он вспоминает даже то, как и в чем она была одета. И интерес к поэзии, к литературе у них был общий, как сейчас *общий друг*. Шаламов знает о близости О.И. к Пастернаку — но тем не менее, если читать его письма подряд, виден и собственно “шаламовский” сюжет безусловной влюбленности (1956 года) в Ивинскую. Сначала — “Дорогая Люся” — Вы, потом “Дорогая Люся” — ты, потом — “Не сердись” и “Крепко целую”, а дальше — “Люся, дорогая моя, это письмо ты получишь…” и “Что меня связывает из семейного. Ничего меня не связывает”, а в конце — “Будь здорова и счастлива, дорогая моя, родная моя”, и второе письмо (последнее в переписке) за тот же вечер — “Крепко целую, В.”.

После многажды повторенных, восторженных слов об Ивинской как о живом олицетворении идеала любимого поэта, о драгоценной подлинности ее существования, Шаламов переходит к воспоминанию о том, как в лагерном карцере выживали, читая наизусть Пастернака.

Шаламов лишь слегка упоминается Ольгой Ивинской в ее книге “Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени”, — в связи с первым письмом и пятисуточной поездкой за ним на Колыме. И. Сиротинская в своем изложении этого сюжета жизни
В. Шаламова весьма кратко информирует читателя 1) о романе Шаламова с Ивинской в 30-е годы; 2) о возникшем “увлечении Ольгой Всеволодовной (апрель-июль 1956 г.), ею вполне разделенном”. Что-то разорвало их отношения летом 1956-го, отношения, в которых место находилось и для обсуждения несравненной красоты О.В., и для красоты ее матери, и для живейшего обсуждения не только литературных дел, но и выбора высшего образования для дочери О.В., Ирины. Что? Появление в жизни Шаламова другой Ольги, Ольги Сергеевны Неклюдовой, вскоре ставшей его законной (второй) женой?

После того как Шаламов, настойчиво добивавшийся встречи с Пастернаком, был приглашен на дачу в Переделкино вместе с другими гостями и читал там свои стихи, до нас дошла только одна — возможно, что и в искаженном (?) виде, — реплика Ивинской Шаламову: “Больше тебе Пастернака не видать!”.

О посещении дачи Шаламов оставил свои воспоминания — как и вообще о встречах и беседах с Пастернаком. Беседы записаны подробно — но не как исключительно литературные. Весьма подробно, с выразительными деталями Шаламов описывает этот свой визит на дачу — первый, он же последний. “Ощущение какой-то фальши не покидает меня. <…> Мне кажется, что жена и Нейгаузы — словом, ближайшее его окружение — относятся к нему, как к ребенку-мудрецу. Не очень-то считаются с его просьбами (отказ Нейгауза играть и кое-что другое). Сами просьбы, с которыми он обращается к домашним, как-то нетверды. Он — чужой человек в доме. Дача, хозяйство, приемы, обеды, все, что миновало и минует его (житейская чаша), обошлось, видимо, дорого”. Да, советская роскошь, которой так стеснялся Пастернак в одном из писем Шаламову, произвела на лагерника грустное впечатление.

Шаламов читал “Розовый ландыш”, стих из цикла “О песне”, и “Камею”. Б.Л. слушал, “опасливо обводя глазами гостей”, — но “понравилось всем”, хотя Шаламов подчеркивает истинное равнодушие и эгоизм каждого — и Рубена Симонова, и Луговского, и Нейгауза-старшего, и Нейгауза Станислава, и Ольги Берггольц, которая готовилась в этот момент читать свои стихи. “Зинаида Николаевна слушала одобрительно, — далее Шаламов саркастичен, — стихи с Севера должны быть одобрены…”

Пастернак — не Нейгауз, не Симонов. Не исполнитель, не артист. У него свое, бурное и эмоциональное восприятие. У Пастернака, при всей любви к “друзьям” и широком гостеприимстве, есть строки, обращенные к ним же: “О, как я вас еще предам, / Лжецы, изменники и трусы”. В одном из своих эссе, рассуждая о том, что он назвал “хитрожопостью” своих современников, Шаламов исключает из этого круга Пастернака, но пишет о его “равнодушии”. Почему? Потому ли, что Пастернак далее как бы отстранился от близкого общения, от порою даже горячих — жар до сих пор исходит — при чтении — писем?

Гадать можно всяко. Не следует забывать о том, *какие* это дни (и несколько лет далее) и чем наполнены они для самого Пастернака, начиная именно с лета 1956-го: судьбой романа, перепиской по его поводу, государственными угрозами, — словом, тем, что он сам назвал “приглашением на казнь” (случайно ли совпадение с названием романа В. Набокова? Не думаю…).

Но на даче, 21 июня, Пастернака как поэта (тут Шаламов не ошибался) не миновало никакое слово из сказанных — и прочитанных — Шаламовым.

При всей восторженной даже любви и преклонении перед Пастернаком следы влияния его на Шаламова кажутся мне исчезающе малыми. Влияние Шаламова на Пастернака — сильнее.

Процитирую одно из трех шаламовских стихотворений, прозвучавших в тот летний вечер на даче у Пастернака. (Кстати: упомянутая “Камея” была предложена и чуть не попала в первый выпуск “Дня поэзии” 1956 года. Только “Камея” была опубликована при жизни Шаламова, да и то — в поэтических книгах сначала — в сокращенном варианте в книге 1961 года “Огниво”, потом полностью в “Шелесте листьев”, 1964). Стихотворение из цикла “О песне” — “Я много лет дробил каменья” — появилось лишь в 1988 году, в “Новом мире” (№ 6).

Я много лет дробил каменья
Не гневным ямбом, а кайлом.
Я жил позором преступленья
И вечной правды торжеством.

Пусть не душой в заветной лире —
Я телом тленья убегу
В моей нетопленой квартире,
На обжигающем снегу.

Где над моим бессмертным телом,
Что на руках несла зима,
Металась вьюга в платье белом,
Уже сошедшая с ума,

Как деревенская кликуша,
Которой вовсе невдомек,
Что здесь хоронят раньше душу,
Сажая тело под замок.

Моя давнишняя подруга
Меня не чтит за мертвеца.
Она поет и пляшет — вьюга,
Поет и пляшет без конца.

Так что же в стихах (и душе) Пастернака отозвалось?

Лагерные картины?

Запа'ло и слово — “душа”.

Запа'ло сильнейшее впечатление — от услышанного, и мучила мысль о том, о чем он не может, не имеет права — но и обязан, и должен написать. Стихотворение Шаламова — это своего рода парафраза пушкинского “Памятника”, только “не душой в заветной лире”, а “телом” на колымском снегу, в вечной мерзлоте обретают бессмертье тела заключенных.

И Пастернак ответил на шаламовские слова, что могли быть услышаны как реплика в диалоге — слова о “бессмертном теле” и о “душе”.

Ответил не письмом, а стихотворением:

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Тела их бальзамируя,
Им посвящая стих,
Рыдающею лирою
Оплакивая их,

Ты в наше время шкурное
За совесть и за страх
Стоишь могильной урною,
Покоящей их прах.

Их муки совокупные
Тебя склонили ниц.
Ты пахнешь пылью трупною
Мертвецких\* и гробниц.

Душа моя, скудельница,
Всё виденное здесь,
Перемолов, как мельница,
Ты превратила в смесь.

И дальше перемалывай
Всё бывшее со мной,
Как сорок лет без малого,
В погостный перегной.

В одном из писем, помещенных в третьем выпуске “Шаламовского сборника” (по поводу книги Н. Ивановой-Романовой), Шаламов замечает: “Автору следует знать, что стихи не рождаются от стихов. Стихи рождаются только от жизни”. Нет, не “только” — бывает, что стихи и жизнь действуют вместе, и вдвойне сильнее. По крайней мере в данном — шаламовско-пастернаковском — сюжете находится тому явное подтверждение.

В последнем письме Пастернаку — 12 августа 1956 года — Шаламов благословляет Пастернака (а не наоборот). Шаламов дает прямую и недвусмысленную оценку окружающему (но не его, Шаламова — он сумел и в Москве остаться одиночкой): “Несмотря на низость и трусость писательского мира, на забвение всего, что составляет гордое и великое имя русского писателя, на измельчание, на духовную нищету всех этих людей, которые по удивительному и страшному капризу судеб продолжают называться русскими писателями, путая молодежь, для которой даже выстрелы самоубийц не пробивают отверстий в этой глухой стене, — жизнь в глубинах своих, в своих подземных течениях осталась и всегда будет прежней — с жаждой настоящей правды, тоскующей о правде; жизнь, которая, несмотря ни на что — имеет же право на настоящее искусство и настоящих писателей”. Шаламов пишет о том, как велика ответственность русского писателя (“здесь решение вопроса о чести России”), и благословляет Пастернака на этом поприще: “Да благословит Вас Бог”. Это высочайшее в выражениях письмо, как я полагаю, Шаламов написал после ознакомления со стихотворением Пастернака “Душа” — в письме бывшему з/к он сообщает, что был у Б.П. еще раз, в июле, уже после дачного приема гостей (“Б.Л. я видел недавно, обедал у него” — в письме 7 июля 1956 года из поселка Туркмен, через несколько абзацев после описания приема с чтением стихов и т.д. Так что речь идет о еще одном, следующем визите).

Обращаясь к переписке Шаламова с колымчанином А.З. Добровольским, можно по определенным упоминаниям понять, что стихотворение “Душа” было послано Шаламовым своему респонденту на Колыму тогда же, в июле, “с вложением 3-х стихотворений Б.Л. — пишет Добровольский 12—14/Х-56. — …Скучаю по Вашим письмам. В 8-м, кажется, номере “Знамени”, среди прочих неизвестных мне стихов Б.Л. встретил два знакомых и не удивился, что “Душу” не встретил. Это естественно”. Еще бы! Конечно, *естественно*. А в предыдущем письме Шаламову получивший “Душу” Добровольский пишет о своей реакции на это стихотворение Пастернака, дабы “выразить ту мгновенную и ни с чем не сравнимую радость и невыносимую печаль, которые потрясли меня при первом чтении стихов <…> Стал читать (Вы ведь не запрещали, да и нельзя это запретить) другим. Конечно, только тем моим друзьям и знакомым, кто почти ценою жизни уплатили за познание “законов страстей”, и я видел, торжественно взволнованный, как расширялись их зрачки, бледнели губы, останавливался куда-то обращенный взгляд, а затем краснели уши, наполнялись слезами глаза, и горловые спазмы заставляли делать глотательные движения…

Да, стихотворение “Душа”, даже в неволнуемых Блоком проникает за строчкой строчка, как желудочный, нет, не желудочный, а какой-то еще не изобретенный сердечный зонд! Передайте Б.Л. при случае от живущих в “обителях севера строгого” благодарность за то, что в “это время хмурое” — он такой *существует* на свете!!!”

В комментариях к стихотворению “Душа” во 2-м томе 11-томного собрания сочинений цитируется редакционная замена. В тексте кантаты Свиридова 1959 года — “время трудное”. В оригинале — “время шкурное”. “Время хмурое” — вряд ли описка колымчанина, скорее — осторожность.

Там же, в комментариях, цитируется авторская заметка 1956 года: “Написать памяти погибших и убиенных наподобие ектеньи в панихиде”.

Пастернак — написал. А подвигнул его на это другой поэт — Варлам Шаламов.

В письме Шаламову от сестры его жены, Марии Игнатьевны Гудзь, от 8 марта 1954 года она описывает то впечатление, которое произвели на ее знакомых стихи Шаламова, посвященные “Бор. Леон. Паст.” Под таким посвящением стихов в опубликованных тетрадях Шаламова (вошедших в третий том СС) я не обнаружила, но нашла стихотворение “Поэту” (рядом с “Годами все безоговорочней…”, также упоминавшимся М.И. Гудзь в этом письме). По всему смыслу эти стихи, полные одновременно — лагерной горечи и энергии ее преодоления, — рождены чувством великой благодарности поэту, чьи строки поистине спасли Шаламова: “И я шептал их, как молитвы, их почитал живой водой, и образком, хранящим в битве, и путеводною звездой… Вот потому-то средь притворства и растлевающего зла и сердце все еще не черство, и кровь моя еще тепла”.

Потом, уже после смерти Пастернака, Шаламов постепенно утрачивает это горячее чувство. В его записях, письмах, отзывах благодарность сменяется глухим попервоначалу раздражением, раздражение сменяется отчуждением. Он перечеркивает поздние пастернаковские стихи, уничижительно отзывается о романе, а самого Пастернака обвиняет в трусости. И все-таки — тема Пастернака мучает его, не отпускает, звучит признанием: “лучшее, что было в русской поэзии — это поздний Пушкин и ранний Пастернак”.

Все это к тому, что столетний юбилей — не повод для “молчанья”, даже — молчанья от ужаса перед раскрытым адом. Да и вообще юбилей — не повод, слово “повод” по отношению к Шаламову неуместно. Необходимо внимание, тщательное внимание биографов, текстологов, историков, историков литературы, переводчиков, — филологов в широком и узком смысле слова, — не будем исключать и критиков, и публицистов. Опыт Шаламова — не только человеческий, но и литературный (*опыты*) — нуждается не в молчании, даже благоговейном, вызванном самыми благородными мотивами, а в обсуждении. Обсуждение — это и означает продолжение, а не забвение.

 \* В одном из вариантов Пастернака, в автографе: “Египетских гробниц” — Шаламов: “Чем не Египет?”.